

кара Уайльда мыслить, можно сформулировать тезис, который представляется мне очевидным: Оскар Уайльд, лелеявший эпикурейское отношение к жизни, — великий платоник Викторианской эпохи.

Литература

Бальмонт К. Избранное: Стихотворения. Переводы. Статьи / Сост., вступит. ст. и коммент. Д. Г. Макоговенко. М., 1990.

Вайнштейн О. Б. Денди. Мода. Литература. Стиль жизни. М., 2005.

Гилье Н., Скирбекж Г. История философии. М., 2001.

Ланглад Жак де. Оскар Уайльд, или Правда масок. М., 2006.

Платон. Диалоги / Под общей ред. А. Ф. Loseва. М., 2008 (сер. Антология мысли).

Реле Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 2006.

Таранов П. С. 120 философов: В 2 т. Симферополь, 2002.

Уайльд О. Перо, полотно и оправа: Письма, эссе. СПб., 2009.

Холланд М. Ирландский павлин и багровый маркиз. Подлинные материалы суда над Оскаром Уайльдом. М., 2006.

Wilde Oscar. The Collected Works. Wordsworth Editions Limited, 1997.

А. А. ФЕДОРОВ

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «СТОРОНА НОЧИ»

Сонник

С. XIII–XIV

Собиралась ночь. На Керженце этим летом, жарким и знойным, словно в тропическом лесу, умирающем от великой суши, она была похожа на роскошную холеной полнотелостью пышную красавицу, истомившуюся в бане, скрипящую от чистоты и, словно рыжая крутобокая крынка парного молока, выставленную в холодильник лесной речки. Она была прекрасна своей избыточной довольностью и спокойствием, и звездное небо домашней черной с белыми крошками кошкой, спешащее на ее посиделки, пылающее остроконечными ушами черных дыр и квазаров, укладывалось к ногам, такое же довольное и домашнее — и Бастинский, который через два часа выйдет к реке покурить и проветриться, решит, что выпустивший полтора десятка миллиардов лет назад эту кошку из своего крохотного тесного рая сильно по ней скучает и когда-нибудь заберет обратно.

Весь день компания приезжих занималась своими делами. Бастинский бродил по дому, что-то измеряя, рассчитывая и сверяя при помощи какой-то сложной электронной оптики и ноутбука. Волкинин воссел в бывшем кабинете Лемана на третьем этаже (и в кабинете этом было только три параболические стены, а четвертой и потолка вместе с ней, как объяснил ему Бастинский, «не было, ну что тут поделаешь, старик»), разочарованно, как и тринадцать лет назад, полазил по совершенно пустым ящикам письменного стола, заглянул в совершенно пустую память компьютера и занялся тем, что стал куда-то звонить, что-то требовал уточнить и проверить, чертил у себя в блокноте какие-то сложные схемы. Шесть часов подряд Георгий просидел в Часовой зале за терминалом КУБа, пытаясь разобраться в системах защиты, которые он сам когда-то писал, а компьютер преображал, дополнял, совершенствовал, запутывал все эти долгие годы, подключаясь в автономном режиме к Большой Маме из «ИкуБИ», причем располагал для этого всеми кодами доступа, включая самые новейшие, обновленные службой информационной безопасности института всего семь дней назад; с каждым часом удивление Георгия от того, что он обнаруживал и в софте, и в железе КУБа, возрастало в геометрической прогрессии, и на исходе шестого он чуть от него не лопнул, как первая любовь от грязных трусов, от него и от количества выкуренных сигарет — в конце концов, не выдержал даже Дом, в потолке разверзлось отверстие, и включилась вытяжка, столь мощная, что у курильщика встали дыбом волосы, а явившийся на шум Бастинский, заявил, что ничего подобного он в потолке здесь не строил. На это неожиданное заявление Георгий только пожал плечами и сказал, что желает немедленно жрать, и хорошо бы еда была съедобна, а не извлечена, наподобие сибирских мамонтов, из вечной мерзлоты холодильника. И тут, как по волшебству, прогремел входной звонок (шипение фитиля и звук выстрела из бомбарды), Бастинский таинственно подмигнул и помчался открывать.

Вошла женщина — худенькая брюнетка лет двадцати восьми-тридцати в желтом, похожем на комбинезон химзащиты сарафане, и Волкинин, появившийся в прихожей (с пистолетом в руках, что почему-то никого не удивило), а за ним и Георгий согласно отметили, что пришелица притащила с собой здоровенную, как в этих местах говорят — «маленошную», или «бельевую», плетеную корзину, а на чуть-чуть слишком веснушчатом личике имеет место быть очень миленький, как у Моники Белуччи, носик, карие лисьи глаза и сочные пухлые губы, «точь в точь, как у Лары Крофт», подумал Волкинин, на что Георгий, мысли которого двигались в том же направлении, решил, что если у расхитительницы гробниц они были явно накачаны силиконом,

то у вновь прибывшей, очевидно, распухли от комариных укусов, а Бастинский вдруг обнаружил, что адмирал фон Драйф у него в штанах встал по стойке смирно.

Оказалось, что ее зовут Ольга Шаталова, что она из Большого Оленева, а так работает в Семенове, но сейчас гостит у своей родни в деревне — а «Федю я знаю» (Бастинский покраснел, а Георгий, увидев это, чуть не помер от смеха), и принесла им эта самая Ольга не что-нибудь, а два десятка пирогов с луком, по паре каждому лаптей¹, плоску с деревенской яичницей («остыть, чай, не успела, прямо из печи, у нас с Федюшей договор, как что, так и авто подают, ежели загодя предупредить»), да еще четверть топленого молока, немало к нему сочной и — любимую Волкининскую — ватрушку из моченой брусники. Узнав это, полковник расцвел, позабыл все секреты, галантно ухватил Оленьку за ее изгрызенную комарами, печью и полосканием в холодной воде ручку и промурлыкал, что, мадам, на мадам таких кулинарных достоинств он готов жениться и... Девица приятно зарделась и спросила, глядя ему в глаза: «А когда?». Тут Волкинин заткнулся, и вся компания отправилась в столовую кормиться.

Трапеза прошла очень приятно. Оленька, выпив за компанию полбутылки вина, разоткровенничалась (говорила она сяменовским выговором и залиvisto смеялась) и сообщила Волкинину и Георгию, у которых глаза лезли на лоб от услышанного, что знает про них всякую всячину, что облазила здесь все еще во время строительства, что с Бастинским трахается с малолетства, годов с четырнадцати («сама ему дала, не подумайте чего, а первый Сережа был, жених, так его в армию забрали, он там и сгинул»), и он ей как отец родной, а Волкинин шпион, а Георгий умный, а Лемана она почти никогда не видела, но уж больно он странный, а Полина была хорошая, помогла ей аборт сделать за бесплатно и до сих пор жалко ее до слез, и в округе Дома бояться, на Взвоз больше никто не ходит, и даже кабаны с Черных болот (а это три километра отсюда топать по бурелому) ушли... В этом месте Волкинин сказал «стоп», по-фээбэшному вежливо попросил девушку сосредоточиться и устроил ей допрос по полной программе. Действительно, Оля посерьезнела и отвечала ему ясно и весьма определенно.

Да, Бастинский к ней иногда приезжает, но Дом обходит стороной и был там, дай Бог памяти, ну, лет пять что ли назад, на Троицу, что-то там делал по строительству недели полторы, но к себе не звал. А потом, пару дней спустя после его отъезда, она собирала здесь неподалеку у дороги чернику и видела, как в ворота Дома въехала машина. Так вот, думая, что вернулся Бастинский, Ольга пошла к Дому, про-

¹Так в Семенове зовется разновидность пирогов с картошкой. — *Сост.*

никла за ограду («в базе данных она есть, а охранная система на внешних воротах автоматическая», — пояснил Бастинский), но, увидев, что приехал не ее хахаль, — ретировалась.

Здесь извлекли на свет Божий известную фотографию, и Ольга, к величайшему неудовольствию всех присутствовавших, заявила, что именно эти двое здесь и были после отъезда Бастинского, как раз еще накануне у тетки Валентины из Хахал родился внук от зятя-программиста и назвали его Нео, в честь какого-то американца, отчего у тетки Валентины случился на нервной почве приступ подагры.

Георгий почувствовал, как у него начинают дрожать пальцы правой руки, что всегда свидетельствовало о приближающейся головной боли. Волкинин помрачнел, вытащил свою трубку, повертел ее так и сяк и потом намертво привязался к Бастинскому и его подруге, и согнал с них двоих сто потов, выясняя с точностью до часа, когда что происходило и не ошиблись ли они в датах. Наконец Бастинский не выдержал и полез к Волкинину драться, а Ольга, прикрикнув на своего кавалера, весьма холодно заявила допросчику, что если он желает предъявить ей какие-то обвинения, то пусть поторопится, а не ходит вокруг да около. Она же никак не может отвечать за последствия учиненного «вами всеми, а особенно этими двумя» (она ткнула пальцем в Георгия и Бастинского) безобразия и надругательства над людьми и природой. Да и не одна она так считает. Благородные господа может быть не знают — Федя эту мелочь, оказывается, поручил ей — но из десяти лесников и шести сторожей, которых она по его поручению нанимала из оленевских за это время для Дома, шестеро померли от неизвестной болезни, один спятил, а четверых след простыл, причем один, тети Нади сын, вернулся с Лесного сада, сел ужинать, надкусил пирог с лосятиной, вдруг поднялся, вышел за дверь «как и был в рубашке» и обнаружился потом спустя два месяца в Астрахани на разгрузке барж. Да и нынешние трое сидят здесь только потому, что платите вы им немало.

Тут Волкинин сказал, что как раз это ему хорошо известно. Его ведомство ведет подробную статистику происшествий в регионе Взвоз — Малое и Большое Оленево: неизвестная болезнь называется цирроз печени, и умерло от нее не шестеро, а только один, а остальные прекрасно здравствуют в наркологической клинике. Что до тети Надиного сына, то это не Андрюша ли Самсонов, вор-рецидивист, которого поймали в Астрахани, когда он пытался продать на рынке два украденных из сторожки ноутбука?

— Ну, ладно, не верите и не надо, — не унималась Оля. — А спятившие как же? Почему все они одно и то же рассказывают?

— Потому что пьют все одно и то же, вот почему.

На это Ольга заявила, что она, например, пьет одно только красное вино и отродясь этим не злоупотребляла, а «баушка Елена», что жила на Взвозе, пока здесь не понастроили всякого, вообще ничего в рот кроме молока да воды не берет. Но и они обе, «и я, и бабка старая», могут рассказать то же самое.

— Да что — то же самое, растак тебя и разэдак?! — рассердился наконец Волкинин.

Внезапно Георгий, пробудившись от гробового молчания, которое хранил с тех самых пор, как речь зашла о самовоскрешающихся мертвецах, заявил, что догадывается, о чем идет речь. Выдержав эффектную паузу, он раскрыл рот, потрепал себя неспешно за мочку правого уха и сообщил, доверительно, обращаясь к Бастинскому:

— О детях, правда, Федор?

После того, как случилось все, что должно было случиться, после того как собралась ночь со своею кошкой, и река остановилась и принялась укладываться спать, после того как к раскрытому окну Часовой залы прилетел филин и усталился на гостей своими ехидными дырявыми глазами — не оставалось больше ничего, как напиться чаю. Волкинин вышел в задремавший лес и вернулся обратно с целой пригоршней трав и листьев — и, покуда Волкинин собирал их, он услышал, как в ночи зацвел гиацинт.

Они сидели у распахнутого окна, пили душистый обжигающий чай, переглядывались с косматой птицей и видели, что такой ночи не может быть лучше.

— Такие ночи, — сказал Волкинин, зевая, — были только в моем детстве. Они были как моя бабушка — я от нее ничего кроме добра никогда не видел. Тебя земля на небе баюкает, говорила она. Мне хорошо в такие ночи. Еще раз, и только в Африке, в ЮАР, видел я, как небо становится ближе. . .

— Где? — переспросил Бастинский. — Что ты там делал?

— Известно что, — отвечал Волкинин. — Родину защищал.

— Ты что, негр?

— Дурак. Мое пребывание на этом континенте было связано с интересами РФ.

— Кто такая РФ?

— Я тебе сейчас в зубы дам, и ты сразу вспомнишь, на чьем теле паразитируешь.

— Да нет, — вмешался Георгий. — Это справедливо. Всегда есть люди, почитающие родину, и люди, родства не помнящие, и одни невозможны без других — и это называется симбиозом.

— Ты добудешь мне «Сторону ночи» из библиотеки? — спросил Волкинин.

Георгий покачал головой:

— Нет. В каталоге указаны все книги Лемана, что ты перечислил, включая «Сторону ночи». Я могу достать их все, исключая «Сторону ночи». В программе установлена блокада. Я пока что бессилён. Это логическая задача — нужно знать, как считать, т. е. вычислить прогрессию.

— Я не понимаю.

— И я тоже. Этот том числится под номером 12121 — но механизм не активируется, и данная цифровая группа безразлична к запросам. Я хочу сказать, что нужно догадаться, сколькоразрядная здесь система исчисления. А вот достать «Историю меня» и прочее — это я могу в течение получаса. Вот — допью чай.

Волкинин почесал за ухом, сделавшись на мгновение похожим на растолстевшего шелудивого сторожевого пса, и спросил, ни к кому не обращаясь, а может быть, как раз обращаясь к себе самому: «Ну, что мы об этом думаем?».

— Это ты о чем? — спросил, отдуваясь Бастинский. Он был занят тем, что намазывал земляничным вареньем огромный кусок ватрушки с брусникой.

— О том, что говорила Ольга.

— Какая Ольга? Не было никакой Ольги. . .

Тут Волкинин снова принялся лаять Бастинского посланцем из страны идиотов и заорал что-то об ответственности гражданина, а тем более ученого перед обществом, но это совершенно нам неинтересно. А оленевская Ольга, которую Волкинин, провожая до машины, стал называть ласково «Оленюшка», рассказала вот что. Спустя полгода после того, как в январе 1999 Дом закрыли и частично законсервировали, тогдашний сторож Артем Степанович, дядечка очень почтенный и совершенно не пьющий, обходя охраняемые им владения, заметил, что на третьем этаже внезапно зажегся свет. Здесь следует заметить, что сторож выполнял при Доме функции по большей части декоративные — ключами, которые находились у него, можно было отпереть только внешние ворота, калитку в ограде со стороны реки и замок на парадных дверях. При этом автоматическая система защиты, которой управлял все тот же КУБ, была настроена так, что открывала двери и безо всяких ключей персонам, занесенным в ее память, и ни за что не пропустила бы никого другого, хотя бы он притащил с собой саму ключницу Малушу. Так что сторож занимался тем, что дважды в день — утром и вечером — переходил через мост, ведущий из Лесного сада на левый берег, обходил по периметру четырехметровую ограду, проверял напряжение на защитных проводах, возвышающихся над ней еще на полметра, после чего возвращался восвояси.

Так вот, в конце мая 1999 года, во время вечернего дозора сторож, еще только переходя мост, увидел, как на третьем этаже Дома загорелся свет. («Как раз в бывшей Лининой комнате», — вставил Бастинский). Это показалось ему необычным. Если кто-то приезжал в Дом, то его об этом обязательно уведомляли. Тем не менее Артем Степанович сочтя, что бывает всякое, тем более что сигнал тревоги, выведенный от КУБа на ноутбук в сторожке, не сработал, спокойно закончил обход. Он попробовал позвонить Бастинскому в город, но тот был в отъезде. Сочтя, что нет никакой нужды беспокоить милицию, сторож отправился спать. В два часа ночи у него в сторожке раздался телефонный звонок. Взглянув на определитель номера, Артем Степанович обнаружил, что звонят из Дома. Он взял трубку и услышал, по его словам, «леденящий душу» женский голос, который велел ему немедленно отключить КУБ, снять охрану и открыть парадные двери. Когда он, преодолевая «душившие его страхи», ответил, что сделать этого не может, на том конце линии, помолчав, очень вежливо попросили его передать Ф. М. Бастинскому и Г. В. Клокову, что они об этом еще пожалеют и все еще только начинается. После чего связь прервалась.

На этом месте Олиного повествования Бастинский сказал, что прекрасно осведомлен об упомянутом эпизоде, лично беседовал со сторожем спустя две недели (причем от непьющего Артема Степановича жутко несло перегаром — «так он и запил после этих страхов», объяснила рассказчица) и пришел к выводу, что все это ерунда. «Какая там, к лешему, ерунда!» — возмутилась Ольга и стала рассказывать дальше, то и дело доверительно хватая Волкинина за руку. Выяснилось, что неизвестная особа стала звонить несчастному сторожу каждую ночь, угрожая и пугая разными муками, требуя отключить компьютер и вызвать Бастинского или Георгия. Бастинский, прибыв в конце концов на зов, никого в доме не обнаружил и, сочтя Артема Степановича сумасшедшим, велел Ольге подыскать другого человека, а его перевести в лесники.

Через полгода тридцатого декабря Артем Степанович зашел к ней и сообщил, что к вечеру занесет елку, потому как сейчас на лыжах добежит до Дома проверить, как там да что (его тогдашний сторож попросил о подмене), и на обратном пути вырубит Ольге елочку, мол, Новый год без живой елки в доме — все равно, что водка без котенка. Сраженная такой логикой, Ольга села у окна и стала ждать возвращения Артема Степановича. . . Говоря коротко, нашли его спустя три дня почему-то в устье Санохты (пять километров от Дома), как раз там, где Бастинский воздвиг свои знаменитые часовни-близнецы, порядком обмороженного, но живого, в здравом уме и при обещанной

елке. Окончательно придя в себя в семеновской больнице, он поведал, как в километре от Дома увидел рядом с лыжной мальчика и девочку, сидящих на самом что ни на есть настоящем мягком диване; причем мальчик был в черном костюме и галстуке, а девочка — в легком сиреневом платье. Увидев его, дети встали с дивана и пошли навстречу, как он утверждал, ступая по снегу, не оставляя следов и не проваливаясь. Девочка очень вежливо попросила его отдать им ключи от Дома, а мальчик сказал, что это необходимо, чтобы освободить маму. После чего у Артема Степановича следовал провал в памяти.

С той поры детей видели разные люди еще раз тридцать. По округе поползли нехорошие слухи. Дом стали называть «чертовой берлогой» и обходить не то что за версту, а за самые настоящие десять километров. На двух лесников и сторожа смотрели как на приспешников Сатаны. Вызывали батюшку из Семёнова — крестить проклятое место. Но батюшка так накушался в Оленеве, что вывихнул лодыжку, и это, естественно, сочли за происки Лукавого.

Пять лет назад, т. е. накануне оползня возле Дома, «баушка Елена», возвращаясь со Старого кладбища, от которого до Оленева рукой подать, решила прогуляться до устья Санохты, посмотреть на часовни и свернула на тропку, что вела вдоль речушки. Там ее и встретил мальчик. На этот раз он был один. И сказал ей буквально следующее: «Вели своей внучке пустить нас в Дом, а не то сама умрешь и ей не жить». И исчез. С «баушкой» сделалась сладкая истерика, потому как если она и сомневалась доселе в сатанинских происках, то здесь ей были представлены самые веские доказательства. К вечеру весь, наверное, Семёновский район был в курсе того, что на Старом кладбище Большого Оленева поселился бес, явившийся на этот раз в облике херувимоподобного белокурого ребенка с метровыми ногтями и черно-красными, как десертное вино «Черный доктор», зенками. Спустя пять дней бабушка Елена скончалась. На девяносто седьмом году жизни, следует добавить.

Вот тогда Ольга напугалась в первый раз. За день до оползня она пришла к Дому. КУБ пустил ее во двор, но двери в сами хоромы так и остались закрыты. И тут она явственно услышала легкие шаги, на веранде сквозь тонированные стекла мелькнул женский силуэт и в дверь — изнутри Дома — судорожно застучали! Немедленно включился сигнал тревоги — он (Ольга знала об этом от Бастинского) звучал, как трель колокольчика, вокруг полыхнуло жарким светом, и ворота, через которые Ольга попала за ограду, стали медленно закрываться. Она бросилась бежать и не могла остановиться до самого Оленева.

И теперь четыре дня назад, когда, около пяти часов вечера она собирала чернику рядом с Черными болотами вместе с Паховыми (с

некоторых пор в лес она одна ходить боялась), к ней пришла девочка в сиреновом платье, взяла похолодевшую Ольгу за руку и спросила, не сможет ли она, когда в Дом приедут гости, попросить у них почитать одну книжку. Называется она «Сторона ночи», а вот автора она не помнит. И после этого пришелица неестественно быстро, так что ее кроме Ольги никто не успел больше заметить, исчезла в Черных болотах.

«Ну, так вот что, — заявила женщина в заключение, закуривая предложенную Георгием сигарету. — Я хочу знать ответы на четыре вопроса. По мере важности: нужно ли мне бояться? что это за дети? что это за книга? что здесь происходит?». И она уставилась своими лисьими глазами на Георгия.

А потом, когда Ольга ушла, они долго сидели перед распахнутым настежь окном Часовой залы, вдыхали ночные запахи, переглядывались с косматой птицей, усевшейся на ель прямо напротив, и пили душистый чай.

— Ты, Волкинин, зря думаешь, что «Сторона ночи» тебе что-то объяснит, — сказал Бастинский.

— Я желаю в этом убедиться.

— Маньяк. Я знаю чего я хочу — я хочу знать мое желание, говорят буддисты и Б. Г., — мечтательно произнес Бастинский.

— Билл Гейтс? — спросил Георгий.

— Да нет, черт побери! Гребенщиков.

— Он умер.

— Все умрут.

— Но не все умерли.

— Что же, живые любят говорить о покойниках.

— Но покойники молчат про живых.

— Не скажи. Пример тому — ты и Волкинин. Я могу поклясться на вот этом альбоме Гауди, что вы оба умерли в девяносто восьмом, — и Бастинский захохотал, расплескивая чай себе и Волкинину на штаны.

— Ты, братец, вконец спятил. Надо срочно ехать обратно в твой любимый Баден-Баден, на грязи — полечить голову и радикулит.

— Это вам обоим пора подумать о грязи. Дело хорошее. К земле привыкнете. Впрочем, вам и привыкать нечего, — и Бастинский снова разразился смехом.

Георгий и Волкинин переглянулись и одновременно пожали плечами.

— Он что пьет? — подозрительно спросил Волкинин. — Он там не чай пьет.

— Отвяжись. Я иду спать, — Бастинский вскочил и, быстро обжав вокруг стола, снова уселся на свой стул.

— Ничего не понимаю, — обреченно сказал Волкинин. — Он о чем говорил?

— А ты и не старайся, — ответил Георгий. — Я еще вчера понял, что если попытаться объяснить хоть как-то все те странности, что произошли со мной за последние три дня, то мне останется только лечь и умереть — просто нечего будет больше делать.

— Послушайте, ребята, — заговорил Бастинский — он был бледен и спокоен. — Я все еще пытаюсь выяснить — что здесь происходит.

— Георгий, объясни, над чем работал Леман, — вдруг потребовал Волкинин. — Нет, конечно, я изучал вопрос... И не то чтобы я, как обычно, ни черта не понял. Я знаю много слов, но я не понимаю смысла...

— Слова... — пробормотал Бастинский, пробуждаясь от охватившей его тьмы и наливая себе душистого чаю, который они заваривали прямо в большой небесно-синей эмалированной кружке. — Слово умерло. Слова мертвы. Мы теряем интерес к ним, но и они теряют интерес к нам. У слова есть две стороны — сторона дня и сторона ночи, слово круглое, как земной шар — днем оно ясно и сильно, ночью оно исчезает — шар поворачивается, и тьма смывает его силу, — оно становится только цепочкой корявых значков, и нет таких сил, чтобы обнаружить скрытое в нем и почувствованное через него.

— Волкинин, — сказал Георгий, внимательно выслушав Бастинского, — если я расскажу тебе легенду о том, что представляет, по слухам, «Сторона ночи» — тебе будет только хуже. Леман занимался теорией искусственного интеллекта и весьма в этом преуспел, как вы все и знаете. Но главным делом своей жизни он считал создание базовой онтологии персоморфистики. Никаких работ по этому направлению не осталось — за исключением тех мифологических трактатов, что, если повезет, мы сейчас изыдем из Хранилища. Все делалось кулуарно — насколько можно вершить, как говорили масоны, «без расщепления», работы таких ресурсозатрат.

У Лемана была «сборка» — научное микросообщество, небольшая группа представителей разных отраслей науки, организуемая для решения определенной цели. Для того чтобы достичь цели, как известно, следует решить ряд задач. Это дело прикладное. А вот для того, чтобы *назначить* цель — следует правильно поставить проблему, т. е. задать мирозданию и себе такой определенный и универсальный вопрос, который договариваемся считать подлинным и в сфере которого существует цель исследования и ее задачи. Это называется «апоретикой» — искусством правильно ставить вопросы. Прежде чем сделать «сборку», Леман как раз и сформулировал такую суперпроблему.

Это был высший пилотаж философско-научной мысли. То, что уда-

лось ему, — удавалось за всю историю человечества единицам. И, как это обычно бывает, современники заметили и оценили лишь следствия начальной точки отсчета — это за нее, за исходную идею нужно было дать Нобелевскую премию, а не за эту жалкую игрушку, ради которой леманову «сборку» наградили в специальной, доселе невиданной номинации, «искусственный интеллект».

— Да, я понимаю о чем ты. . .

— Нет, не понимаешь. Я говорю о подвиге разума: оставить свою эпоху и заданный ею стиль мышления и заглянуть вперед — но не для того, чтобы узнать, что будет в будущем, а для того, чтобы подготовить само это будущее, открыть в неразработанности времени такое место, куда устремится эта самая «своя эпоха». Такие люди уже не принадлежат современности — они говорят на другом языке, и их не понимают. Не принадлежат они и будущему — его нет, и нет еще тех, кто их поймет. Они выпадают из времени — их участь создание времени, с той оговоркой, что человек не господин бытия, он лишь пастух его. . . Они, опрокидывая себя в ничто, которое мы зовем будущее, определяют нам путь, по которому, плутая, мы движемся вперед. Это не наука и имеет лишь опосредственное отношение к тому, что понимается под научным познанием. Это — метафизика, речь идет о создании онтологии будущего, и это почти всегда акт философско-мистический, связанный с озарением и способностью видеть целое-как-целое. Такое случалось с Платоном, Оригеном, Августином, Николаем Кузанским, Кантом, Хайдеггером и — вполне вероятно — с Леманом. А что, собственно, я вам это говорю? Об этом писали много раз. . . Вот хотя бы тот французский тип, обгадивший М. Д. в своем романе про сексуально-псевдонаучные приключения. Он называл это «метафизические мутации». Ничего вы, невежи, не знаете. . .

— Подожди. Что дальше? Леману дали нобелевку за создание искусственного интеллекта. А о чем толкуешь ты?

— За создание «смеси», синтетической самоорганизующейся ментальной системы с антропоморфной биобазой. Они называли это полатыни «mixtum»-смесь. Я тогда еще пошутил — и это растиражировали говнюки-журналиги — сказав, что это не «mixtum», а «satura», куча, и она в своем квазижизнеразуме пожрет рано или поздно своих родителей. Леман навалил кучу. . . Но ты прав, я говорил не об этой детской игрушке. . .

— Ничего себе игрушка! — враз завопили Волкинин и Бастинский.

— Игрушка стоимостью в миллиарды, — пояснил Волкинин. — Игрушка, запрет на производство которой контролируется гораздо более жестко, чем любой вид оружия массового поражения!

— Я чуть с ума тогда не сошел, — признался с облегчением Ба-

стинский. — Это вам был не прянично-гамбургеровый спилберговский Голливуд, что-нибудь там про искусственный разум. Извращенцы! Это же был кошмар — Фауст и Алиса, племянник Георгия и дочка Полины и Валентина! Милые детишки! Самоорганизующиеся ментальные системы, етитный дух! А я так полюбил ее. . .

— Ба! — вдруг вскричал Волкинин. — Так ведь этот дом, который Бастинский строил якобы для Лины. . . Он же был оплачен Леманом. . . Эта библиотека. . . Вот оно что, — произнес он спокойно. — Значит его построили для Алисы.

— Поражает оперативность мысли в наших службах безопасности. Даже до студента ФФК² и до того. . .

— Да, — неохотно сказал Бастинский. — Дом этот строился для Алисы, Фауста и их семьи. . . По лемановой теории решающим шагом в процессе становления и сохранения «смеси» была организация особого дизайна пространства-времени. . . Но Фауст не выжил, ты же помнишь. . .

— Короткое замыкание.

— Дурак, — фыркнул Георгий. — Это же биобазы. Он умер от тоски.

— О ком?

— О матери.

— Господи Иисусе! Давайте пока оставим эту дикую историю. Я тогда как раз курировал эту программу, ни черта не знал и не понимал, и меня чуть не уволили из органов. Так что ты там плел про открытие Лемана, Георгий?

— Зря не уволили, — сказал Георгий. — Это не нас, а тебя нужно было пристрелить. Кто это, скажите на милость, нажравшись дешевой водки, сказал, что самое сокровенное его желание — явиться ко мне домой с плоскогубцами, пилой и отверткой и вскрыть Фауста на предмет выяснения лояльности ко всему человеческому?

Бастинский захохотал.

— Ой, не могу! Что, было дело, Волкинин? Мастер Пепка ты наш недоделанный. Этой энергии сомнения нужно найти правильное применение. Когда Китай на нас поперет — благо ждать недолго осталось, вот только в Сибири еще на пару градусов потеплеет — тебя нужно будет на границе поставить. У них там у всех импотенция повальная начнется от смеха.

— Что ты там говорил про открытие Лемана? — спросил Волкинин Георгия.

— Да, так вот. Леман сформулировал идею, еще в своей первой шумевшей книге о мистике и историческом Разуме, пределе развития

²Факультет физической культуры.

и сохранения техногенной цивилизации, за которым последует ее распад. Вывел это он изящно — и за это стоит глубоко уважать его уникальный интеллект. В книге было две части. Первая — метафизика, очень тяжелая, где философская терминология была густо замешена узкоспециальными математическими понятиями. Вторая — собственно математическая.

Леман очень убедительно утверждал, что техногенный социокосмос начнет распадаться и превращаться в нечто абсолютно не прогнозируемое новое сразу же после неизбежного преодоления в процессе информотехноэволюции ряда фундаментальных для этого исторического Разума ограничений. Таковыми он считал, во-первых, нарушение известных базовых констант вроде скорости света, постоянной Планка и тому подобное. Во-вторых, нарушение базовых запретов, как то: открытие антигравитационного эффекта, многовариантность темпорального потока, трансмутация вещества, совмещение физического и духовного планов реальности, или, если совсем примитивно, правил существования и непреодолимости границ между материальным и идеальным. И, наконец, создание искусственного интеллекта. Как только будет нарушено хотя бы одно из фундаментальных ограничений — можно будет объявлять дату похорон техногенной цивилизации.

Затем, во второй части трактата, следовала математическая теория процесса. В общем, она не столь уж математически новационна и сводится всего лишь к установлению предела хаоса для исторического как атрибута бытия. И позвольте ее опустить — таких профанов, как вы оба, надо еще поискать. Это же уму непостижимо. . . Тут некоторые говорят, что у меня в голове помойка, а сами не могут отличить интеграл от дифференциала.

— Ну, это ты загнул, — оскорбился Бастинский. — Я, чай, получил архитектурно-инженерное образование, а там без математики нельзя.

— Ладно, речь о другом. Леман в качестве примеров разрабатывал два крайних случая — создание ИИ и крушение границы между материальным и идеальным. Первое, естественно, его интересовало больше всего. И самое невероятное, он оказался прав — немедленно последовала бессознательная реакция суперорганизма под названием «техногенный исторический Разум», воплотившаяся в виде политического запрета на создание «смеси». Помните последовательность событий? Книга Лемана про исторический Разум — объявление о создании «смеси» — всеобщее ликование в узком кругу тех, кто способен отличить интеграл от дифференциала и Хайдеггера от Куайна — Нобелевская премия по спецноминации, мол, сбылась вековая мечта современного человечества — трехлетняя пауза — исчезновение Лемана — запрет на производство «смеси». Помните, кем был инициирован запрет?

— Всеми.

— Вот именно. А так не бывает.

— Еще как бывает, — заметил Бастинский. — Помнишь Андрея Боголюбского, который хотел построить абсолютную монархию в XII веке в отдельно взятом княжестве? Его тоже убивали все — родственники, попы, секьюрити, банкиры, суздальские и ростовские бизнесмены, домашние шестерки. И здесь был тот же случай.

— Так я про это же и говорю! Это была реакция чего-то такого, что больше, чем человек или союз людей. Защитная реакция исторического Разума как самостоятельно существующей реальности на нарушение пределов поля исторической вероятности: и князь Андрей, и Леман, и М. Д. волей своего жизнеразума были инициаторами таких событий, которые не могли произойти в этих эпохах, но все-таки произошли. И исторический Разум их убил. Ну, с Леманом дело обстояло несколько сложнее. После того как он создал «смесь» и нарушил первый из установленных им фундаментальных запретов, после того как последовала ответная реакция исторического Разума — Леман решил его прикончить.

— Кого? — спросил Волкинин.

— Он и уши наострил. . . За это не арестуешь, полковник.

— Подожди, — сказал Волкинин. — С этого момента поподробнее. Что такое «смеси» мы, вестимо, знаем. Давай про разум.

— Да ради Аллаха. Основной идеи была гипотеза, что существует объект под названием «исторический Разум» — самоорганизующаяся метаструктура, порожденная, предположительно, человеком, в организме которой существует человеческая история. Эта вещь, мол, есть одно из воплощений коренных атрибутов бытия и находится в одном ряду со временем, пространством, движением, развитием, проектностью и называется «историческое». Этот исторический Разум состоит из трех взаимозависимых горизонтов: исторического пространства-времени, что есть мир материального естественного и артефактного; метафизического времени-пространства, что есть мир мысли, а точнее разнообразных традиций мысли, и персонального пространства-времени, что есть микроистория индивидуального жизнеразума, т. е. смещение исторического и метафизического в судьбе-бытии отдельного человека. До этого момента, как вы понимаете или не понимаете, дела обстоят весьма неплохо — мало ли что можно выдумать.

Далее начинается нечто невероятное, чем-то смахивающее на киберпанк и все прочее сукинсыństwo, а вернее, совсем противоположное по сути. Леман исходил из гипотезы, что время, в котором существует человек, не имеет ничего общего с подлинным временем мира,

более того, оно, этот темпоральный закуток, возникающий в физическом ради человеческого, враждебен временным потокам мироздания, разрушителен как для самого себя — и это называется смертью — так и для мира. Это несправедливость и от нее следует избавиться — т.е. уничтожить специфически «человеческое», нарушающее гармонию миропорядка. Как рассуждал Леман? В первом горизонте исторического Разума — историческом пространстве-времени — время есть необратимый водопад, навсегда, невозвратно стремящийся в энтропийную пропасть и не допускающий никакой возможности возвращения назад. Во втором горизонте — метафизическом — время есть река, в которой, конечно, есть течение и крокодилы, но по ней возможно плыть в любую сторону, время там изохронно, можно вернуться вслед мысли по струне традиции и достичь Хайдеггера, Канта, Николая Кузанского, Платона — и затем отправиться обратно. Третий горизонт — персональный — соединяет в себе свойства первого и второго. Тогда время там — бурлящий поток, несущийся сквозь омут немерянной глубины. И стоит только научиться черпать оттуда, как чаша эта никогда не иссякнет. . .

— Подожди, ты это серьезно?

— Причем здесь я? Слушай дальше. Так вот, якобы Леман изобрел машину времени — я не знаю, как мог бы работать такой агрегат, но могу сказать, как он не мог бы работать — и речь шла уже не о том, чтобы перемещаться по потокам взад-вперед, но вырабатывать свое время, черпать его из бездны, что стоит на границе исторического и метафизического. Далее следует нарушение причинно-следственных связей — впрочем, все другие уже нарушены, так почему бы и нет? Причиной и возможностью такого положения дел и одновременно следствием и действительностью становится исчезновение границы между историческим пространством-временем и метафизическим временем-пространством в сфере персонального мира, микроистории индивидуального человеческого существа. Тогда сознание, традиции, индивидуальная мысль становятся не только вещественными, но и материальными — возможно, это то, что обнаружат на «дне» неисчерпаемости материи те, кто еще собирается исчерпать ее до самого конца. Причем выходит так, что теперь исторический Разум воплощается в индивидуальном разуме отдельного человека, и начинается «история меня». И поскольку таких выдающихся успехов в борьбе со временем удалось достигнуть только товарищу Леману, следует сделать абсолютно логичный вывод, что этого мира, исторического Разума, нас, как таковых, не существует, а есть только персональный космос Лемана, в недрах которого есть мы. И, прошу тебя, Волкинин, не говори, что ты опять ничего не понял.

— Отчего же, — буркнул Волкинин. — Кое-что я уловил. . . Бастинский, что ты все молчишь? Это раздражает.

— Я не молчу, — сказал Бастинский. — Однажды, по молодости лет, мне заказали дом. Эдакий средневековый малогабаритный замок для одного аджарского князя. И этот долбаный князь вручил мне собственноручного изготовления проект и сказал: «Мэ-э-э. Ныкаких ат-кланэний». Ну, никаких, так никаких — денег давали много, я из архитектора преобразился в прораба и построил это сооружение. Все в нем было хорошо — четыре этажа, гараж на пять машин, три башни с пулеметными гнездами, бомбоубежище, тюрьма, подземный ход — единственная беда, князь забыл про лестницы. . .

— Это ты к чему?

— А это я к тому, что мы с Леманом довольно часто общались и были приятелями. Он много что рассказывал. А то, что ты здесь выдавал за леманов проект, — это лабуда твоего собственного персонального изготовления. Я-то тогда думал, что князь-то просто забыл про лестницы, и построил их. Оказалось, что дом строился для умершей дочери князя, которая стала ангелом и прислала письмо отцу, что будет навещать его, если он построит ей хорошенький малогабаритный дворец. Ну, а как известно, ангелам лестницы не нужны. Помню, меня чуть не убили. Ты, Георгий, все врешь и выдумал этот сюжет прямо сейчас, чтобы потешить Волкинина.

— Ничего подобного. Это называется реконструкция: я не выдумываю, а воссоздаю структуру мысли на основании известного. Ты же можешь достроить дом, который начал строить кто-то другой! И, пожалуйста, не нужно соваться туда, где ты ничего не понимаешь — я собаку съел на моделировании когнитивных комплексов и. . .

— Ерунда.

— Чего ты от меня хочешь? За что купил, за то и продаю.

— Хорошо, если ты так в легкую можешь достраивать чужую мысль, тогда объясни, откуда взялись Лина, Валентин, Алиса, почему ты явился себе, при чем здесь Фельман и М. Д., что это за истории про злобных детей, шатающихся по лесу?

— Я же тебе еще вчера сказал, что есть вещи, объяснение которых не имеет не то что возможности, но и смысла. . . Потом, я отвечаю только за себя и за Лину, больше никого я не видел. Если вообще принять весь этот бред за чистую монету, то в свете того, что мне написал М. Д., — Леман обратился к нему за помощью. Преображение исторического Разума в «историю меня», вероятно, связано с каким-то генетическим преобразованием. А что до этих всех визитов призраков — у меня только одно объяснение: что-то случилось в нашем прошлом.

— Ну, слава Богу. Наконец-то все встало на свои места. Спасибо, что все так хорошо и понятно объяснил, высокозодый ты наш.

— Спасибо на хлеб не намажешь.

— Намажешь, еще как намажешь. Из этого всего, — продолжал издеваться Бастинский, — следует один вывод. Что наша героическая наука в лице товарища Го-го только что и могла, как запутать все к чертовой матери и нагнать такого тумана, что обдолбанному ежику и во сне не снилось. И мы теперь будем тут плутать, покуда всякие там умники не пригонят еще тумана, и мы там все, аки в дерьме, не захлебнемся. Что такое исторический Разум, спросили мы Георгия, и узнали, что это зверь, в желудке которого мы все обитаем и перевариваемся. И он срет нами и на нас. И за такое ясное и понятное изложение проблемы, а особенно за то, что там случилось в нашем прошлом — огромное вам от нас всех спасибо.

— Нужно выпить, — сказал Волкинин. — Немедленно нужно выпить.

— Сейчас, подожди еще немного. Скажите-ка мне, ребята, а почему, по вашему, запретили «смеси»?

— Ну, как же. . . Ты же помнишь формулировку из статута ООН — «античеловеческие эксперименты», «насилие над личностью» и т. д. При чем тут это? Я вообще никогда не понимал всей этой шумихи. По моему мнению, эти гомункулусы абсолютно никчемные существа — ни тебе суперсилы, ни увеличения продолжительности жизни. Они даже болели, как мы. Правильно сделали что запретили — это были отходы. . . Вот искусственный интеллект — это другое дело. . .

— Бред, Волкинин. Все не так. Все гораздо сложнее. То, что ты называешь ИИ, — всего лишь очень сложный информационно-машинный комплекс вспомогательного плана. «Смеси» были совсем другие. Никакие «античеловеческие эксперименты» никого бы не остановили. Когда я говорю, что что-то случилось в нашем прошлом, я имею в виду такое дело: мы до сих пор не поняли, зачем Леман создал «смеси». Это же, на первый взгляд, были обычные люди — дети, смешные, забавные и утомительные. . .

— Ничего обычного в них не было, — заметил Бастинский. — Они были умны не по-детски и не по-человечьи. Это были, бесспорно, детеныши, но ничего человеческого в них не было — или это было слишком человеческое.

— Ладно вам врать-то. Нормальные были дети, — заявил Волкинин. — Вот только сказки, что они придумывали, были какие-то уж совсем странные. Но ведь дети всегда воруют черте что, правда?!

— Ба! — удивился Бастинский. — Кто бы говорил. А ты откуда знаешь про сказки? Они тебе ничего на моей памяти никогда не расска-

зывали, поскольку ты к ним ближе, чем на десять метров, старался не подходить.

Волкинин замаялся. Неожиданно, воровато оглянувшись, он сунул руку в карман и задумчиво уставился в потолок. Вдруг по столу побежал здоровый, как кошка, черный таракан. Он несся как угорелый. Бастинский с криком «Мочи горбатых!» выскочил из-за стола, схватил тапку и со всей мочи шлепнул по несчастному насекомому. Таракана не стало. Георгий расхохотался.

— Терпеть не могу этих тварей. — Довольно сказал Бастинский, отирая тапку о ковер. — И ведь что я за эти пятнадцать лет с ними ни делал! А они тут как тут. Хотелось бы знать, что они здесь могут жрать при таких размерах. Может, их отстреливать попробовать, Волкинин, как ты полагаешь?

— Ты что, сволочь, сделал? — спросил Волкинин с тихой злобой.

— Когда? Если ты имеешь в виду твою несостоявшуюся жену, то я с ней спал еще до того, как у вас...

— Это был «жучок».

— А? Какой, на хрен, «жучок». Это был жирный, как свинья, откормленный тараканище. Еще пару недель, и с его участием можно было снимать фильм ужасов «Тараканы-маньяки».

— Урод! Я говорю, что это было подслушивающее устройство.

— Что? Э тот...

— Да, мать твою. Одно из последних. Ты со своей тараканофобией изничтожил их почти на сто тысяч евро. Никому они не мешали! Ползали себе... Только Бастинский, Фауст и Алиса планомерно наносили вред госсобственности.

— Дети тоже мочили тараканов? — заинтересовался Георгий.

— Да, и еще как.

— Так ты что же, Го-го, знал, что этот поганый чекист нас прослушивает и ничего мне не сказал? — злился Бастинский.

— Ты, Федя, извини, — несколько смущенно сказал Волкинин. — Так было нужно. Этого требовали интересы...

— Оставь родину в покое. Родине нужно было знать, как я трахаю Маринку в библиотеке и что она при этом вопит?

— Нет. Слежка велась исключительно за детьми и Леманом.

— Ладно, — согласился Бастинский. — Черт с тобой. Тебя не переделаешь. Никого уже не переделаешь. А ты, Го-го, чего ржешь, как дрессированный конь? Жуткие были детишки, да? — неожиданно серьезно спросил Федор. — Интересно, что бы из них получилось, если бы они выросли?

— Они *могли* вырасти, — сказал Георгий. — Более того, мы до сих пор не знаем, что же стало на самом деле и с женской, и с мужской

особью. Алиса была вывезена за границу по договоренности на самом высшем уровне. Причем нас всех — и твое, Волкинин, ведомство тоже, устранили от принятия этого решения, и правительственная комиссия руководствовалась какими-то инструкциями Лемана, которые он якобы отправил непосредственно президенту. Фауст погиб в результате сильнейшего эмоционального стресса, связанного с аффективным возмущением от неизвестно как возникшего воспоминания о никогда не существовавшей матери. Случилось это уже после трагических событий в Венгрии. При этом его тело, которое должно было храниться в «ИкуБИ», непонятным образом исчезло при транспортировке из Дома прямо из герметично закрытого контейнера. Испарилось. Но дело не в этом. Для типа ума, присущего «смесям», состояние между детством и зрелостью дифференцируется по абсолютно другим признакам. Они, Федя, не были ни детьми, ни людьми... Зачем они вообще были — вот это вопрос. В нашем прошлом, где мы с вами все были друзьями и любили одних и тех же женщин, произошло нечто такое, что мы с Бастинским назвали недослучившимся, и это такое значительное и важное, что тянет нас назад, и заставляет происходить то, что происходить не может.

— Ладно, допустим. Что ты там говорил про «смеси»?

— А мне представляется, что они как раз и были задуманы и сделаны Леманом как эти самые машины по выработке персонального времени.

— Здравствуй... Новый год. Ты же сам сказал, что это невозможный бред и быть этого не может.

— Очень даже может быть... В невозможности невозможного бывают исключения. Ибо сказано, что «всему, что из небытия переходит в бытие, причина есть творчество».

— Только вот этого не нужно. Я даже не хочу знать, кто это сказал³. Я...

— Помолчи-ка, — властно оборвал его Волкинин. — Время позднее, нужно собираться. Завтра предстоит разбираться со всей этой чертовщиной...

— Волкинин, — сказал Бастинский, — будь так любезен, признайся. И ты, Жора, признайся. И я признаюсь. Ни один из нас на самом-то деле не желает разбираться в этой чертовщине...

— Заткнись, дай сказать. Твоя подруга, Бастинский, перед тем как покинуть нас, обрував недоумками и слюнтяями, очень верно сформулировала четыре вопроса, на которые очень хочется получить ответ...

³Ну, как скажешь. — *Сост.*

— А поскольку невозможно ответить сразу на все, — встрял в перепалку Георгий, — то следует выбрать один, наиболее простой вопрос. И это будет вопрос о книге.

— Именно так, — согласился Волкинин. — Но, поскольку ты, Георгий, так хорошо рассказал нам про «апоретику», то позволь мне сказать еще вот что. . . Сегодня я навел некоторые справки и пришел к некоторым выводам. Так вот, во-первых, ради какого дьявола, скажите мне, под Хранилищем заложена взрывчатка, а в дверях установлена сверхсложная система защиты? И не нужно мне говорить про раритеты в библиотеке и прочую ерунду. К тому же, когда возникла необходимость, вы вдвоем преспокойным образом нарушили защиту и — что-то мне подсказывает — вполне способны сделать это еще раз, но почему-то не хотите.

— А я, — добавил он вполголоса, извлекая из кармана трубку и привычными движениями заставляя ее вращаться вокруг пальцев левой руки, — почему-то не хочу заставлять вас это делать.

Бастинский скорчил уже знакомую кислую гримасу и сообщил, что, по правде сказать, он интересовался у Лемана о причинах существования взрывного устройства, но тот от ответа уклонился, а Георгий, усмехнувшись, сказал, что полковник, как это ни прискорбно, абсолютно прав. Дом, продолжал он, по-прежнему усмехаясь, есть порождение бастинской теории дизайна, основанной на вполне ясном математическом аппарате, ему, Георгию, прекрасно известном. Имея в распоряжении эти данные и разобравшись за шесть часов каторжного труда в созданной КУБом системе защиты, он, теоретически, сможет разблокировать Хранилище без всякого взрыва. Но. . .

— Вот именно, — подхватил Волкинин, — но. И заключается оно в том, что, как мне удалось сегодня выяснить, — я все-таки составил общую схему защитного механизма — он в первую очередь предназначен не для того, что бы сделать проникновение в Хранилище извне абсолютно недоступным, а как раз для того, чтобы сделать полностью невозможным проникновение из Хранилища вовне.

И полковник протянул Георгию лист бумаги с тщательно изображенным на нем чертежом. Георгий в ответ сделал отстраняюще-безнадежный жест рукой, мол, верю, знаю, и так все ясно, что ничего не ясно, бумагу перехватил Бастинский, судорожно вцепился в нее, начал было разглядывать, а потом отбросил в сторону и уставился на Волкинина.

— Ну, и что это, черт бы вас всех взял, значит?!

Волкинин извлек изо рта трубку, которую так и не раскурил и, приятно улыбнувшись, сказал:

— Я не знаю. Страшно, да?

— До небытия, — сердито ответил Бастинский.

— И было сказано, — важно вымолвил Георгий, — что бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие.

Бастинский выругался.

— Я догадываюсь, — с отвращением проворчал он, — какому именно гаду принадлежит это злобное заявление. Это ведь тетка, да? Мазохист и параноик, отягощенный сексуальной недостаточностью. Задница русской литературы. По нему получается, что состояние агонии и есть подлинная жизнь. Мол, чем сильнее лупят тебя камнем по башке, тем острее ты чувствуешь полноту, прелесть и неповторимость жизни. Выходит, что палач — это тот, кто отвергает пред тобой врата истины. Да я бы этому...

— Хорошо, — сказал Волкинин. — На этом закончим. Пора отсюда сматываться. Завтра вернемся со спецгруппой. Как мне удалось понять — не я один ничего не понимаю, но и вы оба тоже.

— Сократ ты наш. . .

— Нет, он прав, — сказал Бастинский. — Ты, Го-го, своими разговорами напомнил мне, как в году 98-м два молодых английских математика доказали теорему Ферма.

— Ну, было дело.

— Так вот, они затратили на это страниц 700 текста, состоящего из одних формул, и практически создали новую отрасль в общей алгебре, ради того, чтобы провести это доказательство. Я бы сказал с высоты своего невежества, что они создали вообще новую математику, потребную исключительно для того, чтобы доказывать теорему Ферма. И в этом есть величайшая лажа всей современной математики — стоит только захотеть, умеючи можно доказать что угодно и как угодно. Помните, был один дурачок, который утверждал, восседая в засаде из общей алгебры и чего-то еще, что Иван Грозный и Мамай одно и то же лицо? И ты, Го-го, занимаешься той же ерундой. Из чего, скажи мне, следует, что реальный мир, как ты говоришь, «исторического пространства-времени»...

— Это Леман говорит.

— ...должен подчиняться теории, сочиненной двумя высокозадыми недоумками? Да ему нет до вас никакого дела.

— Так! — рявкнул Волкинин и спорщики замолчали, уставившись на него. — Я что? Я ведь прошу немного — достаньте мне из этой чертовой кладовой книжки Лемана, и я уеду отсюда. А вы здесь можете хоть до второго пришествия решать идиотские проблемы идиотским образом.

— А я предупреждал тебя, что от всех этих сказок со «Стороны ночи» тебе не прибавится ни понимания, ни оптимизма. . .

— Нет, подожди, — вдруг решительно сказал Георгий.

Он поднялся со своего места и, засунув руки в карманы, заходил по столовой.

— Утро вечера, конечно, мудренее, — сосредоточенно заговорил он, — но и на стороне ночи есть своя правда. Я сегодня, пока сидел за компьютером, тоже много что сделал. . . И хочу подвести итоги. Будем мыслить так. Поскольку мы не понимаем не только сути происходящего, но и не можем даже внятно описать происходящие события или хотя бы установить сам их факт (одни эти детские призраки в лесу чего стоят, даром, что кровь не сосут из грибников и ягодников), остается, на мой взгляд, одно. . . Ты, Бастинский, помнишь, что я тебе вчера или уже позавчера говорил про гипотезу?

— Это о Хайдеггере? — встрепенулся Бастинский. — Ты знаешь — да, как это ни странно. Забилось в башку и торчит там, как спица, я серьезно: то, что уже лежит в основании другого и всегда посредством этого другого уже явлено, даже если наблюдатель не сразу и не всегда это замечает. . .

— Вот именно. То, что является само собой, не добывается нами в порядке опыта или поиска, но попросту дается, само себя показывает. . . Поэтому у меня такое предложение. Давайте примем правила игры, которую нам кто-то упорно стремится навязать.

— Так, ну? — поторопил его Волкинин, наконец-то, берясь за спички и раскуривая трубку.

— В этом всем бардаке, что происходит с нами в последние четыре, пять уже, виноват, дней, есть четыре элемента, четыре константы, причем структура отношений между ними отличается абсолютной неясностью. Но элементы эти очевидны. Есть дом, построенный Бастинским в соответствии с его знаменитым «дизайном чая», который, судя по всему, занимается тем, что преобразует сам себя. В этом доме есть некое место, куда доступ закрыт, да и сами мы, как оказалось, не очень-то и стремимся туда попасть — опять-таки по причинам, нам абсолютно не ясным, о которых мы только лишь смутно догадываемся. В этом месте есть книга, которую, напротив, мы не прочь были бы заполучить, и эта книга уже показала нам раз — и она дразнит своим присутствием отсутствия. А еще есть дети, женщины и мужчины, и об их статусе существования мы вовсе ничего не можем сказать, кроме того, — принимая правила игры — что они *как-то* существуют. . . Итак, давайте попробуем подчиниться этим событиям — чтобы не спать, я не вижу другого выхода — и тогда, возможно, эти элементы установятся в какую-то структуру и в этом всем проявится какой-то смысл.

Георгий замолчал. В распахнутое окно Часовой залы залетел осто-

рожный ночной ветер — легкое, невесомое, необычайно жестокое касание, в котором уже не чувствовалось никаких лесных ароматов, а оставался только мертвенный холод. Ночь добралась до третьего, самого своего страшного часа.

— Что ты предлагаешь? — жестко спросил Волкинин, коротко пыхнув трубкой.

Георгий уселся за стол и внимательно оглядел своих товарищей.

— Поступим так. Сейчас я извлеку из Хранилища то, что можно оттуда извлечь — книги Лемана, кроме, естественно, «Стороны ночи», которая недоступна. Потом мы разойдемся по комнатам и посмотрим, что будет дальше. А я уверен — что-то обязательно *будет*, потому что мы принимаем условия этой игры, а точнее — саму игру, с условиями, которые для нас неизвестны. Дом сделает свое дело.

С. XIV

Бастинский лег на кушетку — откуда она взялась здесь, под Y-образной лестницей, сотворенной им тринадцать лет назад, он не знал. Наемник ворочался, устраиваясь поудобнее на жестком ложе, а оно потрескивало и тихо стонало — вдруг он уткнулся носом в высокую деревянную спинку, на которой его рукой было процарапано: ««сно-толкование и есть не что иное, как сопоставление подобного», Артемидор, II, 25». Некоторое время он размышлял над этой странной фразой, а еще более над тем, когда и зачем она здесь появилась, но все внезапно закончилось, он задремал и ему сначала приснилось, как зауральскую часть Российской Федерации захватили китайцы, а европейскую — «Радио Свободы», и министром по идеологии западно-русских провинций назначен Марат Гельман, и Бастинский, вместе с Волкининым, готовит на него покушение, а Волкинин говорит ему по-китайски: «Не расстраивайся. Он не человек. Это только форма жизни из созвездия Альдебарана». Здесь он проснулся.

Уставившись в потолок, который назывался «Дождь» и был выполнен таким образом, что создавалась световая иллюзия ливня — сотни крупных капель, летящих откуда-то снизу, со стороны пола, — Бастинский с некоторым усилием принялся размышлять о том, насколько бесполово и неопределенно его сегодняшнее состояние в делах и мыслях. Переживание походило на зубную боль, которая не давала покоя, призывала немедленно избавиться от себя самой и в то же время лишала всякой способности к действию, заставляя волю сосредотачиваться только на ней одной. Бастинский любил воспоминания; они — как мышь, пробирающаяся сквозь пустые мешки в поисках зерна: одинока и небезопасна. Он трижды хлопнул в ладоши. Капли на потолке пришли в движение, и комната наполнилась мерным, усыпляющим звуком

затяжного дождя, опрокидывающегося на листья деревьев, мостовую, лужи, лицо, руки, ступени лестниц... Лестницы были самыми любимым его вещами. Однажды он построил дом, состоящий из одних ступеней — в нем не было ничего, кроме самого дома, что не было бы лестницами: окна, двери, стены, перекрытия, опорные колонны, полы, потолки, фундамент, даже собачья будка состояла из ступеней, их было девяносто девять, и чем-то напоминала помесь ленты Мебиуса с ракушкой. Заказчик, немецкий профессор из Мюнстера, специализирующийся на русской философии, сначала страшно разозлился и грозил судом, а потом отошел, посмеялся («здесь будут жить мои ноги и лапы моего пса») и заявил, что продаст этот особняк японцам. Домик купил престарелый К. Хага, пришел от него в восторг, и перевез в Японию, в Нару. А когда этот странный человек, посвятивший жизнь изучению чайной церемонии, узнал, что Федор Бастинский и Зенон Андрильский — одно и то же лицо, то прислал приглашение посетить его страну. Бастинский первый раз попал в Нара. Ямато — так звался долгое время этот край, впитавший в себя, как губка, всю поэзию, величие, страхи и спесь японцев; и Бастинский, утраившись громадины Большого Будды, живо напомнившей ему покрытую золотянской насосную станцию по перекачке газа, «а на самом деле, — решил он сейчас, — похожей еще больше на ослепительную доменную печь», поднявшись вечером на гору Такамадо, откуда всю провинцию одним махом можно было сгрести к себе в карман, увидел, как солнце заходит за гору Икома, и ему вдруг явились неисчислимы и невидимые божества-ками — и он под испуганное хлопотание Хаги едва не полетел вслед за ними, в последний момент уцепившись за перила смотровой площадки. Когда на следующее утро Имаи Ёсимаса, знаменитый биофизик, хорошо знавший Лемана и Георгия и потомственный поклонник *тядо*⁴, спросил его, что случилось с русским гостем, «я попытался объяснить ему, как они красивы. Он удивился и поинтересовался, о ком я говорю. “Конечно, о ками”, — сказал я. Он с внезапным любопытством посмотрел на меня и спросил: “Ну, и как бы вы назвали их красоту?”. И у меня вырвалось слово — “несовершенной”». На следующее утро Хага и Ёсимаса повезли его в ущелье Осугидани, «должно быть, изготовленное по специальному проекту в мастерской кого-то из местных божеств. Оно состояло из идеально вертикальных утесов и множества водопадов, водопадиков и ручейков, и движение воды было похоже на суетливый полет пчел». К концу проведенного там дня Бастинский чувствовал себя так, будто бы оказался в недрах ползатопленного разъеденного ржавчиной остова океанского сухогруза,

⁴ «Путь чая» — так называются философия и медитативная практика японской чайной церемонии. — *Сост.*

перевозящего уголь, куда непрерывно изо всех щелей просачивалась вода. Там на них напали какие-то маленькие незрачные червячки, столь же многочисленные, как и восхитившие Бастинского невидимые *ками*. Они оказались местной разновидностью пиявок и выделяли некое специфическое зелье, резко ухудшающее свертываемость крови. «Их нельзя было отрывать, как это делал Хага, но только прижигать огнем». И Бастинский усмехнулся, вспомнив, как на хладнокровное явление Ёсимасы, заманившего их в эту ловушку, что пиявки освобождают от лишней крови, Хага вскричал, что у него таковой не имеется. На следующий день Ёсимаса, оставив своего приятеля залечивать раны, повез Бастинского посмотреть на хребет Судзука. Его главная вершина, Годзайсе, была, безусловно, сделана в той же мастерской, что и Осугидани, и выглядела столь идеально беспорядочным, нарочито невероятным и катастрофическим нагромождением камней, что Бастинский на секунду заподозрил подвох и усомнился в ее естественности. Когда он сказал об этом своему спутнику — тот рассмеялся и ответил, что, в свою очередь, увидев лестницу Зенона Андрильского, долго не мог поверить, что, во-первых, у нее есть строитель, а во-вторых, этот строитель не японец. Десять лет назад Бастинский, выполняя дипломный проект, построил, назвавшись по какой-то куртуазной прихоти Зеноном Андрильским, на Откосе родного города, как раз на месте рухнувших трамплинов, лестницу. В ней было шестнадцать тысяч ступеней; она начиналась ниоткуда, вела в никуда и существовала сама по себе, ни на что не опираясь. Ни одна ступень не была похожей на другую; все они были разной формы и сделаны из самых разных материалов. Она делилась на четыре части. Первая, похожая на фаллос в состоянии эрекции, плавным зигзагом вела вверх. Вторая располагалась над первой и напоминала нежную без единого волоска женскую раковину. В точке их соприкосновения автор создал нечто в виде гиперболического параболоида, где как-то само собой возник дорогой сакральный кабак. Третья крутой параболой облегалась все это снизу, вознося к небесам свои бесконечные хвосты. . . Четвертая — эллиптическая — пронзала конструкцию в горизонтальной проекции ровно по центру и была способна к спонтанным, совершенно непредсказуемым трансформациям: эллипс вдруг начинал бухнуть, оболочка его трескалась, он превращался в вывернутую наизнанку гиперболу (Марина, в силу филологического образа жизни, именовала ее *литотой*), части которой начинали сходитьсь между собой, стягиваться вовнутрь до тех пор, пока эти две бесконечные ветви не расходились прочь и не становились от оси абсцисс, образуемой фаллосом, на законном расстоянии действительной оси, тогда как кабак, очевидно, пребывал в этот момент на вершине оси мнимой. . . Понятно, что от всей этой геометрии

кружилась голова. Кроме того, со стороны реки это грандиозное сооружение выглядело так, словно оно висит в воздухе, метрах в десяти от земли, безо всяких опор. «Единственная лестница в мире, поднимающаяся по которой, хочется, чтобы она не заканчивалась», — сказал о ней Леман. Лестница вызвала в городе настоящий переполох — ее сразу же потребовали снести. Местные власти, давшие согласие на это строительство, пришли в ужас и собирались привлечь молодого архитектора к ответу. Однако, когда выяснилось, что в городе появилось наконец, впервые за восемьсот лет (ну, не считая Минина и Пожарского), нечто такое, чего нет абсолютно нигде, и сюда повалили толпы туристов — в основном японцев и немцев — только для того, чтобы взглянуть на это возбуждающе-таинственное сооружение неизвестного автора, чиновники призадумались. Ко всем тогдашним Бастинским бедам вокруг лестницы сгушалась мистико-эротическая атмосфера, выдержанная отчасти в дзен-буддистских тонах, отчасти имеющая оттенок загадочной молодежной субкультуры. В соответствии с этим появились паломники двух видов. Первые приезжали сюда, чтобы пройти четыре этапа лестницы шестнадцать раз по шестнадцать раз и таким образом способствовать достижению просветления. Вторые — чтобы забраться в кабак, нажраться там пива под названием «Лестничное», которое, по договоренности с муниципальным предприятием «Лестница Зенона», варили монахи близлежащего Печерского монастыря, а потом спрыгнуть вниз с самого высокого и крутого участка сооружения. После того как разбились шесть человек (все без исключения супружеские пары), Бастинского пытались привлечь к ответственности как руководителя тоталитарной секты маньяков-самоубийц, но в итоге ограничились тем, что повесили под печально знаменитым местом лестницы страховочную сетку. Популярность сооружения еще больше увеличилась. С каждого желающего подняться на лестницу стали брать один евро. Бастинский начал богатеть.

На следующий год Ёсимаса, пользовавшийся на родине большим влиянием, сделал ему предложение построить в районе хребта Судзука небольшую пагоду. «Я ему говорю тогда, — рассказывал Бастинский Георгию, — что я ничего в пагодах не смыслю. А он мне в ответ: “Зато вы знаете, что есть *ваби* и как придать ему форму”. Ну, думаю, попал — сейчас я ему тут такое настрою, что меня предадут местной анафеме и отправят за мной работа-убийцу с глазами покемона. И тут Ёсимаса вдруг заявляет, что лестница, из-за которой вся эта возня и началась, ему не понравилась и вообще раздражает. “Я, — говорит, — бывал в вашем городе. Покуда на Откосе вместо лестницы были два уродливых трамплина, там было гораздо лучше”. “Так какого лешего вы меня сюда пригласили, да еще заставляете строить вам

пагоду?» — возмущаюсь я. «Оттого, — говорит этот самурай наизнанку, — что в вас живет инстинктивное и прекрасное в своем невежестве чувство гармонии». . . ». Тут он понял, что перегибает и признался, что меня ему еще давно рекомендовал Леман, который сказал, что я непревзойденно остро чувствую иерофанию во всяком сущем. А когда японец съездил на Керженец и ему показали две мои часовни, «я, говорит, понял, что ваш чистый (то ли случайно, то ли нарочно, он сказал не *сэй*, что означает чистота, ясность, очевидность, а нечто гораздо более прямолинейное, что я понял как “простой” и “примитивный”) ум таит в себе тонкую глубинность». «Почему Леман вдруг решился на такое заявление — я не понимаю. Те часовни я начал строить только спустя пару месяцев после его смерти. Я отлично помню, как это случилось. Мы пошли в лес — я, Лина и Марина. Они — собирать ягоды, я — охотиться. На следующее лето я вернулся туда и задумал выстроить на месте грандиозного пожарища, как раз там, где Санохта впадает в Керженец, “Близнецов” — две тонкие, как свечи или стрелы, 18-метровые часовенки. Каждая для одного человека. Одна, богородичская — на правом берегу. Другая, софийная — на левом. Близнецами они не были — в сходстве следует видеть различие. В одной было трехкратное эхо, и слова молитв звучали глухо и раскатисто, как будто говорил не один человек, а множество. В другой слова звучали звонко, ясно и холодно. Богородичская на рассвете озарялась мягким розовым сиянием и, хотя там всегда был полумрак, получилось так, что после ночного бдения часовня казалась залитой ярчайшим сфокусированным светом. В софийной, напротив — с рассветом становилось темнее, а ночью от лика Софии исходило мягкое фосфоресцирующее свечение. Это было круто». Бастинский построил на Судзука четырехъярусную изящную, тонкую, как танцовщица, пагоду, которая колыбалась под порывами ветра («при том, что мало в мире можно найти строений более устойчивых, чем эта красотка»), и, действительно, казалось, что она танцует небесный танец вместе с невидимыми божествами-*ками*.

Потом последовали здание «Дойче-банка» в Питере и небольшой театр в Копенгагене. Он стал популярен. Заказы сыпались, как снег на голову. Бастинский любил деньги, а поскольку воровать не умел, работал все больше и больше. Была в его жизни одна беда — он любил общаться. Он любил, когда вокруг куча людей, а шума еще больше, много разговоров, любил звон рюмок и длительные пьяные застолья. Он любил погулять — оттянуться с друзьями на полную катушку, так чтобы трещало в голове и за ушами. А друзей, кроме мрачного, погруженного в недра чего-то там Георгия и сексуально озабоченного судьбами державы Волкинина, не было. Да и с теми не поговоришь — все страшно заняты, торопятся успеть на тот свет, сукины дети. Ёси-

маса был хороший мужик. Но ему уже за шестьдесят. Кроме того, когда захочется посидеть за бутылкой вина, в Японию не побежишь. А потом — он со мной последние пять лет только сухо здоровается и злобно щурится. Видели, как японцы злобно щурятся? Страшное зрелище. Все из-за этого чертового дворца. Японский городской! Мама закончила институт востоковедения и заставила меня с возраста семи лет учить японский язык. Первая книга, которую я прочитал по-японски, были «Записки о дзенском чае». Это был кошмар, превратившийся в навязчивую идею. Сколько себя помню — я все время строил то сад камней, то хижину-*соан*, то бишь, чайный домик. Сначала из бумаги, потом из бетона, однажды из цветов. . .

Классно получилось тогда в Венгрии — не идиотская . . . которую выдают за исконно японский сад — булыжники и лужи на ровном или холмистом поле, а сплетенный травами и листьями первозданный мир хаосмоса, в котором следует блуждать и мечтать о вечно меняющемся недостижимом, непредназначенном пути. Только немного на русский манер. И Ёсимаса добился того, что мне заказали дворец для чайной церемонии близ Сакаи. Чего они ждали? Я не японец и даже не русский — я человек, который живет и умрет в этом мире. Кто же знал, что *дзен* мы понимаем так по-разному? Из чего, из какого именно корня мадхъямаки следует, что *шунья*, т. е. такая пустота, которую любимая Леманом и Георгием евромистика именovala *ничто*, мало того, что вездесуща, одинакова, обширна, бесформенна, чиста и отрицающая, но еще и неподвижна? Нет, она есть вечная экспрессия, вечная динамика, вечное и быстреее перетечение форм в формы, не хаос, но, попросту, живое, не способное быть в покое иначе, как только неживым. И если дом, который я построил по заказу Лемана для Лины и лемановых «смесей», выпил из меня душу и превратил ее в какое-то отвратительное болото, то Дворец чая лишил меня тени и сил. Я выстроил его в форме двадцативосьмиметрового гриба с широкой воронкообразной крышей (Го-го убежден, что он похож на волнушку), стоящим на таком же основании, расположенном в восьмиметровом углублении — и в это углубление со шляпы гриба вихреобразно ниспадали по тончайшим световодным нитям 64 тончайшие струи воды. На вершину постройки вела лестница, запертая в «ножке» так, что, когда поднимаешься по ней, возникает иллюзия, что идешь вниз, ну, а когда спускаешься, то, соответственно, что лезешь вверх. Кроме того, каждая ступень светилась определенным оттенком зеленого и издавала мягкий, чуть приглушенный звук. Все элементы чайного сада и его хижины я расположил на поверхности шляпы кругами. Так что участники церемонии сидели в самом центре воронки. И пока плелся путь чая, пока длилась церемония, центр воронки медленно и практически

незаметно начинал подниматься, в итоге вознося участников еще на восьмиметровую высоту. Так Бастинский стал знаменит. «Вы превратили *ваби* в технический инструмент. Вы же знаете, что по-китайски *ваби* — это *да-сэй*, место покоя, обитель в неподвижности с печальными мыслями, потерянными желаниями и нежеланием двигаться вперед. Федор, в мире и без того хватает движения, время течет сквозь нас, и мы его вечные жертвы. В *тядо*, пути чая, нет диалектики, это история покоя, собирающего мир на краю пропасти», — это он мне письмо по электронке прислал в прошлом году. Никак не успокоится. Дерьмо! Ёсимаса, конечно, японец из японцев и вообще клевый мужик, но мне еще *только* сорок лет, и я не могу думать так же, как он, и мне *уже* сорок лет, и это отвращает от желания объяснить японцу, что такое *дзен*.

Георгий, выслушав однажды пьяные излияния Бастинского на этот счет и сам будучи порядком навеселе, сказал: «Это все они. Эти три бабы, что морочили нам голову. Ты их всех любил по очереди и решил, что раз у тебя в . . . встроен вечный двигатель, то и весь мир так устроен. А когда они смотались от нас — ты впал в уныние и теперь занимаешься тем, что поишь японцев жидким чаем из русских волнушек. Да еще и этот . . . Мефистофель порядком обгадил всех нас». С Леманом у Бастинского отношения были более чем странные. Когда они познакомились, Бастинскому и Георгию перевалило за 18, Леману близилось к 30. Свел их Леманов дядька — академик Голсон, к которому два юных студента ходили на лекции по теории универсального дизайна в Институт прикладной физики. Кое-что там завораживало — у Бастинского остались воспоминания вроде того, что «после всей этой трехамундии про полевую и струнную организацию сущего, понятную едва ли на четверть, после этих раскатистых жестов вельветового дяди Гэ, нужно было пойти куда-то и срочно что-то делать». И если бы не Георгий, дословно помнивший, что и кто (но не когда именно и где) говорил сто лет назад, периодически освежавший память Бастинского, он бы никогда не вспомнил, как Леманов родственник, глядя на потолок, хайдеггеровским голосом произнес, завершая итоговую лекцию: «Не в том *дело*, что на некоторые проблемы современная наука как совокупность отраслей (библейское — ха! — кстати, слово) не может дать ответа, и это называется непознанным, но в том, что есть такие проблемы, сама постановка которых (не говоря уже о преобразении их в дело) приводит к кризису системы того или иного научного знания и считается незаконной — и это значит, что они принимаются в данный конкретный момент времени как непознаваемое». Бог знает почему, но это довольно обычное высказывание произвело тогда на них колоссальное впечатление. И они, напившись по этому поводу

пива, пообещали друг другу заниматься только такими проблемами.

А потом Леман как-то мягко и незаметно, несмотря на разницу в возрасте, вписался в их компанию, пригласил работать в «ИкуБИ» и вообще доставил им множество неприятностей. Когда Леман организовал свой институт, им было лет по двадцать пять. . . Го-го ударился в математику, а я занялся дизайном. Леман толкал меня то в шею, то под зад, и в итоге получилось то, что получилось. Моя книжечка «Дизайн чая» очень понравилась этому, можно сказать, террористу и выпивохе, что он и донес до меня во время оргии в Дьяковских банях. «Хочу тебе сказать, Федюша, — молвил он, втыкая свой член вовнутрь в стельку пьяной Иры Ольшаниной, что распласталась на краю бассейна, — твоя идея про дзен-экспрессию целого-как-целого мне нравится. Я ее у тебя забираю. Это будет матрица, что ляжет как вот это женское в основу дизайна моего проекта». Ирка залетела. Мальчик родился идиотом и умер через три месяца. Леман только посмеялся над этой историей. Волкинин тогда и начал копать под него. Мало того, что человек, которого он охранял с незапамятных времен, когда-то свел в могилу его жену, так теперь еще чуть не погубил одну пустоголовую девушку, чьи длинные ляжки и шикарные сиськи в один прекрасный день свели с ума нашего тогда еще майора госбезопасности! И так бы и сжил Волкинин Лемана со света, если бы тот не исчез. По-моему Волку сейчас интересна не столько мифическая «Сторона ночи», сколько возможность отыскать леманов прах и стереть саму память о нем. . . Полковник, собаку съевший (и кошку тоже) на ворах и проходимцах и который понимает в происходящем гораздо больше, чем кажется, сказал мне, что у Лемана был только один, действительно гениальный дар — отбирать. Отбирать людей из массы человечины, отбирать идеи из месива и варева, отбирать деньги у тех, кто их имеет, — отбирать и присваивать. Хрен его, конечно, знает, но мне кажется, что я прав. Другое дело, что история, которую он затеял, так еще и не закончилась. И что у нее там будет за конец — совсем не ясно. . . Я тринадцать лет ждал, когда и как этот змей проявится. Вот, милости просим. Марьяша звала его «фокусником» — начались фокусы. Правда, меня она звала «дебиллом» и «любителем балаганов»: оттого, что я всему леманскому придавал столько значения. Я-то что. Вот Волкинин. . . Он его коллекционировал. . . Фотографию прислал, урод. . . Да еще с М. Д. Святой был человек. . . Георгий вообще стал тем, что он есть, только после пропажи, случившейся, как говорит один наш знакомец, «с событием присутствия» Лемана. Да, эксперимент Го-го, что он провел уже в новом «ИкуБИ», меня потряс — до сих пор чувствую холод в сердце. Не всякому дано увидеть свою изнанку. . . Она была потрясающая. . . Я сделал ее портрет. Жаль, что этот опыт с умом и интеллектом не

удалось повторить... Это дело времени. Ох, что-то из этого выйдет жуткое...

Вдруг он задремал, и в его сон откуда-то забрела женщина; посидела там у окна с видом на осенний лес, посмотрела прямо в глаза, вздохнула и исчезла. Очнувшись, он некоторое время чувствовал на себе ее черный взгляд. Он узнал ее. Ему страстно захотелось последовать за ней, но...

Наконец он уснул.

Бастинскому снилось, что он превратился в изящную перьевую ручку, которая может делать множество всяких дел — не только писать, но и запоминать все, что написано ею, служить фонарем и грелкой, ножом и ножницами, измерять температуру и давление своего хозяина, определять погоду, гадать по Таро и Книге Перемен, быть компасом, словарем, телефоном, ключом от машины, ложкой, шприцем и таблеткой, а если ее положить на стол, то она за каких-нибудь четверть часа превратит его в стул и, оставшись там на ночь, сделает из него книгу стихов. И кто-то невидимый ему взял его в руки, и Бастинский вдруг понял, что это рука Георгия, и принялся писать на ослепительно белом листе чего-то вязкого, небумажного, и каждая буква давалась с трудом и тянулась за другой, и Бастинский вяз в этом месиве знаков и понимал и не понимал, что... нет, «это не время проходило с нами — это была жизнь, состоящая из всяких дел, нужных или нет. Мне была нужна ты; а жизнь, что была склянкой с разноцветной водой, нужна была только для того, чтобы в ней была ты. И даже когда тебя не было — ты все равно была здесь. Сейчас я вспомню все, что происходило с нами за эти десять лет, как нам иногда было хорошо и как часто — плохо. Потому что я любил тебя. Я не хочу говорить за тебя — мне надоело. Десять лет — это не много и не мало, это десять лет. И я не могу найти слов — как сказать — это была жизнь, прожитая без тебя. Наша история — это умирание, это всегда осень, это всегда расставание и чужие нам, но близкие тебе люди, которые и значат для тебя жизнь. Это всегда страх, ужас, тоска или... Я не знаю. Но можно ли остаться другим, десять лет расставаясь со своей возлюбленной? А еще — слишком много нелепостей и глупостей. Хорошо (чуть не сказал — слава Богу), что мы не пробовали жить вместе: ничего бы не вышло. Надо ли объяснять почему? А кому это интересно? Только не мне. В наших годах были такие места (память редко изменяет мне в этом случае), которые хорошо вспоминать: они сами зовут меня, обрастают подробностями, события возвращаются и ложатся мне на ладони: какие-то смешные, какие-то добрые, очень неприятные, стыдные, горестные, преступные, страшные, забавные. Все они прошлое. Знаешь, что было особенного в твоём времени

для меня? Я встречал тебя всякий раз, чтобы расстаться. Ты всякий раз возвращалась туда, что составляет твою жизнь, а я встречал тебя, чтобы расставаться, и это составляло мою жизнь: остальное было пар-эргон, вроде довольно сносной рамы для картины, которая на самом деле и есть... А зачем? Время не возвращается для людей, время — это нечеловеческая среда: оно слишком абсолютно. Между нами все кончено, и это ясно: я имею в виду слишком человеческую ткань, что соглашается называться любовью. Почему так трудно определить ее, отчеканив в дефиниции? Легко ответить — мне легко ответить: полюбив, каждый создает ее заново, без всяких руководств и инструкций, без оглядки на подобно-чужое или даже свое-вчерашнее; каждый отращивает ее из *своих* жизненных соков, заставляя кормить самое себя; нет образцов — есть акт сидеральных масштабов абсолютной свободы судорожного, пронзаемого вспышками похоти, страсти, буйной радости, молниями отчаяния, тоски и страха сотворения персонального мира, помимо которого ничего нет. Абсолютность этого творчества столь неудержимо безосновна, что на какое-то мгновение (что даже не есть время) способна сравниться с абсолютностью самого времени и... быть беспощадно свергнутой в прах: чтобы снова стать жизнью. Мне не нужно тебе ничего говорить: все пересказано, все упаковано. Мне не нужно ничего от тебя — ты ничего не можешь... и я не стану перечислять, что именно, потому как это уже будет апофатическое богословие. Ты — ничто, через которое, как через просвет, являло себя несокрытое (если ты ни хрена не поняла, почитай Хайдеггера, детка, он это понял так, как никто в прошлом веке близкого нам мышления). Но сейчас — ты только *была* ничто. Мне скучно. Эти слова — только дань прошлому. Мне еще больно за это прошлое. Но пройдет и это. Как странно быть без тебя — и какая радость жить без тебя».

Вдруг почерк изменился, словно на руку пишущего наложилась еще одна рука — он стал размашистым, корявым и нервным — у Бастинского начала кружиться голова, которой у него не было. Это был почерк Лемана.

«... Что-то случилось в нашем прошлом — что-то такое, что тянет нас обратно. И не потому, что мы в силах это изменить, нет. Время — нечеловеческая среда. Это заметил еще Аристотель: есть хронос, неумолимый нож, пронзающий зыбкую плоть жизни; есть кайрос — лакуна в неумолимости, где позволено пребывать человеку и где он питается надеждой на неотвратимость своего присутствия, что значит — на избежание смерти, как и на избежание бессмертия. Помните Канта? Главным делом человека он считал три вещи — Бог, свобода и бессмертие. С Богом разобрались — он умер. Троица стала двоицей. Состояние свободы как сущности столь неопределенно, что пациент

также скорее мертв, чем жив. Вопрос свободы сводится к высвобождению от пары предметов, освобождение от которых совпадает с главным, последним и единственным делом нашего несчастного христианского Бога — смертью. Следует быть свободным, во-первых, от мира, во-вторых, от самого себя — следует быть ничем, чтобы достичь этого. Всякая другая свобода есть мнимость — сеть условностей, ограничивающая и обеспечивающая наше существование, столь велика и ячейки ее столь мелки, что мы даже находим в себе силы их не замечать. . . . Что же дальше? Если следовать по этой дороге, то это значит остаться ни с чем — бессмертие столь же смертно, как Бог и свобода, и минимум столь же легко и неуловимо совпадает с максимумом, и мир — это только набор состояний, которыми мы раскрашиваем свой тусклый взгляд, чтобы видеть не то, что есть, а то, чего не может быть. Видеть так, как хотим мы, вещи, которые выглядят совершенно иначе. Этот путь — путь лишения всех иллюзий — не нужен никому. Две трети человечества заняты обеспечением эволюции иллюзии, называемой «человечество». И последней его надеждой должно стать бессмертие. День закончился — очевидность и подлинность иссякли; им на смену приходит ночной туман, и имя ему — человек. И ничего не остается, кроме человека, если путь вверх закрыт, если этого «верха», как его ни назови — Богом ли, трансцендентным, или как-то еще, просто нет, если пути вовне не существует, если невозможно освободиться от того, что есть, ради того, чего нет, — то остается только одно. Это ты сам.

Когда мы свободны от Бога и свободны от свободы — мы бессмертны, если считать смертью такой момент, когда мы освобождаемся от всего, что закрыто кайросом, жалкой человеческой надеждой на мнимость подлинного времени — не имея опоры вне себя, этого всемогущества, всеведения, все-милости, все-благодати, согласиться с существованием которой — значит согласиться с отсутствием человека или, напротив, с тем, что Бог создал нас, чтобы ужасаться нашим ничтожеством, или же он смотрит в нас, как в зеркало, чтобы. . . я даже не хочу довести эту мысль до логического ее завершения.

Что-то случилось в прошлом, моем прошлом, такое, что. . . ».

Вдруг посреди этого жаркого и непонятого кошмара слов раздался глухой бой огромных часов, и Бастинский даже почувствовал, как по лицу его пронесся ветер, поднятый маятником. Он вскочил с кушетки и увидел, что находится в библиотеке, и под стеллажом с мягким протяжным шелестом открылся лаз, и он устремился туда, надеясь попасть в Хранилище, и на секунду замер перед ведущей в подпол маленькой лесенкой, оглушенный давно забытым ледяным ароматом Лениных духов.